PG3467
.K6
N62
1919

Т во КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
ВЪ МОСКВѢ

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА № 30

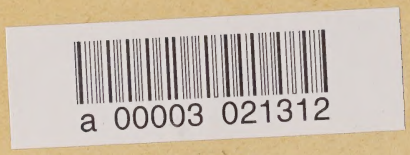
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
CHAPEL HILL

Вл. [illegible]

НОЧЬЮ

Издание второе

МОСКВА—1920 г.


a 00003 021312

Т-во „КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ ВЪ МОСКВЕ“

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА № 30

PG 3467
.K6
N62
1919

ВЛ. КОРОЛЕНКО

НОЧЬЮ

NOCH'IU

Москва—1919 г.

Типография Т-ва „Книгоиздательства Писателей в Москве"
Моховая, у Троицких ворот д. № 1/16.

1919 г.

НОЧЬЮ

Очерк

I

Было около полуночи. В комнате слышалось глубокое дыхание спящих детей.

В углу комнаты, на полу, стоял медный таз. На дне его было немного воды и стояла сальная свеча в подсвечнике. Свеча сильно нагорела, фитиль покрылся темною шапкой и тихо потрескивал. Кроме того, на стене стучал маятник, а на полу, в освещенном кружке около таза разместились несколько тараканов. Сдавшись на задние лапки и подняв головы кверху, они смотрели на огонь и шевелили усами.

На дворе бушевала непогода.

Дождь стучал по крыше, трепетал листья в саду, плескался на дворе в лужах. По временам он стихал и уносился вдаль, в темную глубину ночи, но после этого прилетал к дому с новой силой, бушевал еще больше, сильнее обливал крышу, хлестал по ставням, и порой казалось даже, что он струится и плещет уже в самой комнате... Тогда в ней водворялось какое-то безпокойство: маятник как будто смолкал, свеча готовилась погаснуть, с потолка сползали тени, тараканы тревожно водили усами и, видимо, собирались бежать.

Но бурные порывы непогоды продолжались недолго. Казалось, дождь решил про себя никогда уже не прекращаться, и когда ветер оставлял его в покое, он принимался гудеть ши-

роко и ровно—и на дворе, и в саду, и в переулке и в пустыре по полям... Гул этот, просачиваясь сквозь запертые ставни, стоял в комнате то ровным жужжанием, то тихими всплесками.

Тогда маятник принимался опять отчеканивать свои удары с резким упрямством, свеча тихо кряхтела, тараканы успокаивались, хотя, повидимому, упрямство дождя наводило на них грустное раздумье.

Все это слышал и глядел на все это из-под своего одеяла один из двух братьев-погодков, которые спали в освещенной комнате. Старшего звали Васей, младшего – Марком. В семействе был обычай давать шутливые прозвища. У Васи была очень большая голова, которою он в раннем детстве постоянно стукался об пол, поэтому его прозвали Голованом. Марк был некрасив и смотрел несколько исподлобья, отчего получил название Мордика.

Мордик сладко спал, а Голован уже с полминуты прислушивался к шуму дождя.

Он был большой фантазер и часто думал о том, что происходит на свете, когда все спят: и он, и Марк, и девочки, и старая нянька,—и значит некому смотреть.. Неужели комната остается все такая-же, и маятник продолжает стучать, хотя его никто не слушает, и свеча продолжает светить, хотя светить некому, и тараканы только бессмысленно сидят на полу, уставившись на огонь?.. Не раз уже просыпаясь с этою мыслью, он осторожно выглядывал из-под одеяла... На этот раз он сам не заметил, когда проснулся, и ему показалось, что, наконец то, он застигнет комнату врасплох. Вот уж с полминуты он смотрит на нее, не шевелясь, полуприщуренным глазом, а в ней все продолжается какая-то особенная, таинственная жизнь, которая прячется обыкновенно, когда на нее смотрят.

Все в ней живо, удивительно, необычно и страшно... Дождь мечется и злится снаружи, отбиваясь от ветра, маятник спорит с шумом дождя, свеча уныло кряхтит, тараканы хранят разумный вид, как будто сейчас только разговаривали между

собой и решили единогласно, что положение свечи действительно жалкое, а дождь буянит совершенно напрасно. Кроме того, Вася сознавал, что все они вместе — вся комната со всеми предметами — смотрят недоброжелательно на детей, которые спят, ничего не подозревая, в своих постелях.

Однако, было и еще что то самое странное, что Голован никак не мог уловить. Когда-же он раскрыл совсем глаза и шевельнулся, — все сразу исчезло.

Маятник застучал тише и без особенного выражения, свеча просто трещала, а не кряхтела, комната спохватилась и приняла обычный, будничный вид.

А между тем он все же чувствовал что то такое странное.. в нем самом, или и комнате или, может, от этого шума. Нет, это простой дождь — шумит вовсе не громко, точно бормочет кто то вяло и неразборчиво. Что-то струится и каплет, точно кто плачет под стеной, и чьи-то вздохи проносятся по деревьям сада... А в саду теперь темно меж деревьев, и в беседку ни один человек не решился бы пойти в полночь, да еще в дождь. Марк хвастался раз, что пошел бы, еслиб ему позволили... Но и то, конечно, не в такую ненастную бурную ночь..

По спине у Васи пробежали мурашки, он припал к подушке и завернулся с головой в одеяло.

Тогда ему показалось, что где то в стене, или за стеной, или под полом происходит странное движение и говор. Слышались чьи-то голоса и шум чьих-то шагов.

Что это такое? Он высунул голову, чтобы яснее слышать, но тогда звуки опять исчезали. Ему казалось, что он должен бы знать, что это такое, и тогда он понял бы и то, отчего ему кажется странно. Но он забыл и не может вспомнить, потому что во сне ему снилось совсем другое.

Тогда им стала овладевать тревога.

— А знаешь, Маркуша, что я скажу тебе?—сказал он вкрадчиво, обращаясь к спящему брату.

Но Марк ответил только продолжительным храпом.

II

В детской существовали некоторые традиции. Каждую ночь около часу оба мальчика просыпались и сходились у таза со свечей. Это было нечто вроде ночного клуба, который иногда посещался и девочками. Последнее случалось не часто: для этого девочкам не достаточно было проснуться во время,— нужно было еще обмануть бдительность старой няньки, спавшей с ними в соседней темной комнате. Если это удавалось, то старшая, иногда при помощи братьев, вынимала из постельки самую младшую, Шурочку, и обе они, жмурясь и протирая глаза, появлялись в дверях и бежали на огонь свечи. Тогда тараканы совсем удалялись от таза и только издали сердито уставлялись своими усищами на детвору, которая, как и они, выползала из углов и отвоевывала у них место.

Тогда начинались долгие и очень занимательные разговоры. Никогда детям не говорилось так дружно и хорошо: казалось, тихий ночной час придавал беседе особую прелесть мечты и фантастической неопределенности, а общая забота о том, чтобы не разбудить няньку, сплачивала мальчиков и девочек в тесный кружок ночных заговорщиков.

Впрочем, девочки говорили очень мало: они прихватывали с собой одеяла, простыни, платья и напяливали все это на себя, как попало. Старшая помогала младшей, а та беспрекословно повиновалась. Чем эта костюмировка бывала нелепее, тем больше доставляла наслаждения. В особенности, если удавалось прихватить нянькины башмаки и ее красный, с большими цветами, головной платок, тогда обе девочки замирали в молчаливом самосозерцании. Протянув ножонки в огромных башмаках, не шевеля головой в фантастическом уборе, Шура сидела солидно и молча, а старшая, Маша, делала какие-то гримасы. Она воображала себя большою дамой, а мальчики в одних рубашонках казались ей кавалерами во фраках.

Старая нянька много воевала с этою привычкой, но окон-

чательно победить ее не могла. Путем многих столкновений между обеими сторонами установилось нечто вроде компромисса. Никто не имел права будить других. Но, проснувшись самостоятельно, мальчики могли сходиться у таза, лишь бы вести себя тихо. С девочками история была сложнее. Заслышав малейший шорох в их кроватках, нянька, как-то даже не давая себе труда окончательно проснуться, схватывала беглянку и укладывала обратно. Тогда дело считалось проигранным и вторичная попытка—нечестной. Пойманная вскоре засыпала.

Но если беглянке удавалось уже сойти на пол и добежать до порога, тогда няньке приходилось махнуть рукой. Когда она пускалась в погоню, подымался страшный рев, мальчики вскакивали и бежали на защиту, крича, что Маня уже вошла в их комнату, что нянька почему-то „не имеет права", и т. д. Происходил страшный кавардак, и обе воюющие стороны подвергались опасности высшего вмешательства. Беда, если шум достигал до слуха отца. Но если даже одна мать замечала возню в детской, она на следующее утро призывала детей и няньку.

— Что у вас там было опять?—спрашивала она с выражением неудовольствия, которое огорчало всех даже больше отцовского гнева.—Никогда больше не смейте собираться у свечки!—говорила она детям и тотчас же, обратясь к няньке, прибавляла:—И вечно ты... старая.

Эти последние слова почему-то совершенно уничтожали в глазах детей смысл первого запрещения.

— Ну что взяла, с с-старая?—тихо, но с чрезвычайною язвительностью дразнили они ее, возвращаясь гурьбой в детскую. Нянька сердито возражала:

— Вечно мне за вас достанется, за баловников.

— А ты зачем поймала ее в нашей комнате?

— Неправда, я ее схватила в темной, а она вырвалась.

— Ах, неправда! Вот уже неправда!—горячо протестовала Маша.— Вовсе я была уже за порогом.

Няньке приходилось сдаться, тем более, что с просонок она, по совести, не могла утверждать точно, где именно схва-

тила беглянку. Вообще разбирательство возвращало весь вопрос на почву компромисса, который опять укреплялся и который дети исполняли вообще довольно честно.

III

Теперь Вася хитрил: он показывал вид, что не будит Марка, а считает его проснувшимся.

— Знаешь, что я скажу тебе?

Но ответом был лишь вздох и сонное бормотание. Старуха тоже бормотала в соседней комнате. Дождь все лил, хотя немного тише. Теперь яснее слышались струйки, падавшие с крыши и с водосточных труб.

Глаза Голована стали невольно обращаться к темной комнате. Он всегда удивлялся, как это девочки не боятся спать в темноте, в которой ему всегда чудились странные фигуры. Некоторые из этих фигур были ему давно знакомы и теперь начинали уже роиться, хотя еще не были видны. Казалось, пока только еще шевелится сама темнота, переполненная начинающими определяться призраками.

Тихое всхрапывание няньки вспугивало их, они вздрагивали, смешивались и исчезали, но тотчас же возникали опять, каждый раз с бо́льшею настойчивостью.

Это было очень мучительно, и Головану становилось даже легче, когда, наконец, они появлялись яснее...

Прежде других появился, как и всегда, высокий щеголеватый господин, весь в зеленом, с ослепительно белыми воротничками и манжетами. Лица у него не было, и это-то казалось особенно страшно. Кроме того, он не имел выпуклостей, а как-то странно отграничивался от темноты, как будто темная пустота просто окрасилась в зеленый цвет. Иногда же Васе казалось, что господин вырезан из зеленого и белого картона, что не мешало ему прохаживаться очень чопорно и с большою важностью „фигурять", как выражались дети, которым Вася днем передразнивал его походку.

В первые мгновения зеленый господин появлялся в глу-

бине комнаты, чуть видный. Он проходил по круговой линии, точно его кто передвигал на пружине, скрывался в левом углу и мгновенно опять появлялся у правой стороны, чтоб опять пройти по кругу, но уже ближе и яснее. Тогда-то Вася начинал его бояться. Сначала он старался не видеть зеленого господина, потом с язвительною иронией уверял себя, что господин вырезан из картона. Но когда он подходил каждый раз все ближе, Васе становилось все страшнее: а что, если у него окажется лицо, и он взглянет прямо? Тогда уже придется окончательно отказаться от предположений о картоне...

Вместе с тем, около зеленого господина начинало шевелиться еще что-то маленькое и беспокойное. Оно уже вовсе не имело никакой формы и казалось просто комком темноты, которая копошилась и производила разные движения, смешные на вид, но, в сущности страшные. Вася подозревал тут враждебную хитрость: сначала кажется смешным, чтобы привлечь внимание, а потом вдруг и у *этого* окажется лицо, — что тогда?

Окликнув еще раз Мордика и опять не получив ответа, Голован решил, что если он будет все лежать и смотреть в темноту, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно было отряхнуться от душевного застоя, из которого возникал кошмар, поэтому он встал и подошел к свечке. Тараканы, торопливо семеня ножками, перебежали на другую сторону таза.

Это заняло Голована на время, потом он стал прислушиваться к шуму дождя.

Дождь заметно потерял силу. Шопот его то стихал, то опять повышался, точно сонное дыхание. Зато подымался ветер, пробегал по вершинам деревьев, и тогда слышался резкий шелест. Вася представлял, как деревья клонятся среди ночной темноты и лепечут листвой; но потом он говорил себе, что это вовсе не деревья и не ветер, а гигантский лист бумаги кто-то ворочает на дворе, отчего и слышен шелест. Ему очень нравилось, что тотчас же выходило именно так, и даже самый звук менялся и, вместо шороха влажной листвы, слышалось сухое шуршание бумаги. Потом он опять менял предположение: это среди ночи кто-то сыплет зерно из громадного

мешка в гигантскую бочку. И тоже выходило. Когда ветер стихал, Голован говорил себе: „пошел за новым мешком, сейчас принесет“. И, действительно, тотчас-же опять слышалось ясно, как зерно сыплется, шуршит, падает на дно и бьется о стенки.

Хотя от этих произвольно изменяемых предположений ощущение, что есть что-то странное в доме, не прошло, но за то Головану удалось забыть о зеленом господине. Весь его кругозор теперь ограничивался освещенною частью пола, тазом, свечкой и тараканами, дремавшими напротив. Это однообразие наводило и на него дремоту. От пламени свечки потянулись лучами к его глазу золотые нити; свеча стала расплываться.

IV

Но в эту минуту он вдруг почувствовал, что теперь он не один в комнате. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что Марк стоит на своей кровати, опершись о стенку, и смотрит перед собой таким взглядом, точно он не совсем еще проснулся. Но когда Вася радостно обратился к нему, он тотчас вспомнил, что днем они поссорились из-за колоды карт. Поэтому он быстро лег в кровать и утянулся в подушку. Васю это огорчило.

— Ты разве не пойдешь к свечке?—спросил он упавшим голосом.

— Не пойду!—решительно ответил Марк.

— Отчего?

— Ага, отчего? А карты помнишь?..

— Ну, выходи, завтра отдам.

— Врешь?

— Право, отдам. И еще дам трубу, играть до обеда.

— Ей Богу?

— Ну, ей-Богу.

— Скажи три раза.

— Оставь.

— Нет, скажи три раза, а то сейчас засну.

На душе Васи подымалась глухая досада: разве мало одной клятвы? Но Марк был задира и иногда любил поломаться, а теперь, вдобавок, вымещал вчерашнюю досаду, сознавая, что Голован в его руках и исполнит его бесцельное требование. Действительно, покраснев от стыда, Вася скороговоркой произнес трижды: „ей-Богу, дам карты".

Тогда Мордик вылез из кровати и подошел к свечке, к большой радости брата.

Обыкновенно Вася просыпался первым, и промежуток одиночества казался ему ужасно долгим. Пока он старался не глядеть никуда по сторонам и ни о чем не думать, кроме свечи, тараканов и таза,—ему казалось, будто кто-то склоняется над ним, кто-то ходит сзади, кто-то глядит на него и дышит. Воображение чутко настраивалось, и он чувствовал себя совершенно одиноким в освещенном пространстве, точно это была вершина горы, а кругом раскинулась темная и враждебная бездна.

За то, когда неробкий и положительный Марк подходил к свету, призраки тотчас же исчезали, и воображение направлялось в другую сторону: теперь в нем являлись другие образы, более спокойные и доставлявшие Васе величайшее наслаждение. По большей части это были рассказы из семейных преданий, которые Голован схватывал из отрывочных воспоминаний матери и отца в каком-нибудь беглом разговоре с гостями, в зале. Он ловил эти отрывки с бессознательною жадностью, и в ночные часы, у свечки, когда напуганное призраками воображение несколько успокаивалось, странное вдохновение охватывало юного сказочника: обрывки семейных преданий соединялись в стройное целое непонятным для него самого образом. Как это выходило, он не знал. Он не знал также, откуда брались некоторые подробности, которых никто ему не рассказывал, но только он был уверен, что все это истинная правда. Он говорил легко и свободно о том, что было с отцом и матерью, „когда нас еще не было", а порой— что было и с ним самим, когда его еще не было. Мать и отец в этих рассказах, правда, и самому Васе, и его слуша-

телям казались не совсем такими, как теперь. Они были те же, но немножко иные. Ведь, в сущности, все должно было быть немножко иное, „когда нас не было". Трудно, например, представить себе, что мама когда-то была такая же маленькая, как Шура, и играла куклами, а папа — было время — вовсе не ездил в должность, а скакал верхом на палке, в бумажном колпаке. Это было так странно и удивительно, что девочки хохотали, а самая младшая хлопала даже в ладоши, рискуя разбудить няньку. После этого ничто уже не казалось удивительным, и Голован свободно распоряжался событиями этого мира, с которыми дети свыклись, как свыкаешься, глядя в цветные стеклышки, с тем, что небо кажется красным, и деревья тоже, и красный кучер погоняет красную лошадь, причем красные колеса подымают красную пыль по дороге.. У мамы был тогда большой козел, который всех убивал на смерть рогами, а мама водила его на ленточке, как собачонку. И когда папа задумал жениться на маме, то маме было еще только четырнадцать лет, и козел чуть не убил папу на смерть. Но папа все-таки украл маму из окна и женился. А потом, когда Вася был уже на свете, маму хотели у папы отнять, отдать в монастырь и чтоб они опять были не женаты, а Васи тогда опять не было бы, потому что у неженатых никогда не бывает детей. И все это он помнит. Ему кажется также, что он помнит, как папа украдывал маму из окна. Он в это время привстал в кроватке. Отец раз назвал его за этот рассказ дураком. Когда же он рассказал, какая была кроватка, и где она стояла, и какая была комната, то отец назвал его дураком вторично, потому что его тогда не было на свете, а в кроватке, которую он описывает, спала сама мама, когда еще была маленькой девочкой, а комната была та, где мама жила девочкой, а отец женился на ней в другом городе. И должно быть, мама ему рассказывала о своей комнате, а он теперь врет, что сам ее видел. Все выходило как-будто и так и отец оказывался прав; но Вася с горечью думал про себя, что взрослые всегда оказываются правы, а в сущности это не так: стоило ему зажмурить глаза, и перед ним являлась какая-то

комната, и окно, и папа несет из окна маму. При этом луна светила как то странно, потому что и луна была, конечно, немножко иная, как и люди.

Все это и многое другое оживало ночью, и каждый раз, всматриваясь в эти картины, Вася открывал в них все новые подробности. Каждый раз ново открытая мелочь срасталась с прежними так крепко, что при следующем рассказе ее уже нельзя было отделить, и Васе казалось, что он все это непременно видел и помнит. Это обстоятельство подавало иногда повод к недоразумениям: Марк, скептический и положительный, напоминал порой, что раньше Вася рассказывал иначе, и начинал утверждать, что все это враки и „не может быть". Вася страдал и старался смягчить Марка мягкостью и заискиванием, но иногда это не действовало, и Мордик, со свойственными ему упрямством и жестокостью, начинал отрицать все. Во первых, он утверждал, что он все-таки был бы, если бы даже папу с мамой сделали опять неженатыми. Он все-таки был бы себе, да и только, знать бы ничего не хотел... Мало ли что!.. Потом он говорил, что Вася не видал, как папа украдывал маму через окно, потому что Васи тогда не было; папа с мамой были еще не женаты, а сам же Вася говорит, что у неженатых не бывает детей. Потом он шел еще дальше и подвергал сомнению самый факт „украдывания". Женятся всегда днем и выходят прямо в двери; он видел, как на соседнем дворе женился лакей. Он сошел с крыльца и сел на извозчика, а горничная, которая тоже с ним женилась, села в барскую коляску.

— Ну, врешь... ну, вот и врешь!—горячо вступалась за Васю Маша.—Я сама слышала, папа говорил в гостиной, что мама—краденая и что ее хотели отнять.

— Нет, не краденая... нет, не краденая!—упрямо твердил Мордик.

— Значит, по твоему, папа солгал, скажи... солгал?—наступала горячо Маша.

— Папа смеялся, а вы, дураки, верите!.. Что, взяла?.. И козла не было,—все это одни выдумки и враки и не может быть...

— Нет, не враки, нет, не „не может быть„, а ты—противный спорщик, гадкий Мордик!

— Враки, враки, враки!.. — твердил Марк с холодным озлоблением.

— Не враки, не враки, не враки!..—старалась переспорить его Маша, а маленькая Шура, всегдашняя сторонница сестры, начинала плакать.

Шум будил няньку... Но если даже этого не случалось, беседа все-же была совершенно испорчена. Дети в эту минуту ненавидели Мордика, как и тогда, когда они с трудом возводили карточные домики, а он упрямо стрелял в них каждый раз из угла бумажными шариками.

Фантастические домики Голована тоже рушились от скептического прикосновения, и дети расходились от свечки в кислом и охлажденном настроении. Вася огорчался до слез, тем более, что он понимал, в сущности, что Мордик, пожалуй, прав. Но только дело-то не в этом. И Вася тоже прав, и он вовсе не лгун. И потом: как-же не было козла, когда козел был наверное, и мама сама говорила?

V

Подойдя теперь к свече, Марк первым делом изловчился и щелкнул одного из тараканов так ловко, что тот несколько раз повернулся в воздухе и, как шальной, побежал в угол.

Марк держался смело и свободно. Не особенно красивые черты производили впечатление уверенности и некоторой положительности. Вася был любимцем матери, Марк—отца, который любил его за положительность и храбрость. Он не боялся темной комнаты, не боялся холодной воды, кидался в реку так же свободно, как и взбирался на полок жарко натопленной бани. Между тем, воображение у Васи настраивалось уже заранее, заранее он пожимался от холода, и от этого, казалось, самая кожа делалась у него чувствительнее: он дрожал от холода там, где Марку было только прохладно, и обжигался тогда, когда Марк утверждал, стоя во весь рост

на полке, что ему „ничего не жарко". Впрочем, исключая случаи, вроде вышеприведенного, братья были очень дружны и понимали друг друга с полуслова, а иногда и без слов.

— Ну, что, видел опять?—спросил Мордик.

— Зеленого?—видел.

— Врешь, я думаю.

— Ей Богу, видел.

— Ну?

— Ничего не лгу! Видел, больше ничего... Без лица.

— Из бумаги?

— Как будто... не надо говорить.

— Вот глупости! Я не боюсь. Чего же бояться, если он из картона? Ну, ты, зеленый, выходи!—храбрился он, повернувшись к дверям Однако, вид черной темноты подействовал и на него; он отвернулся и добавил уже тише:—Я бы его разодрал, больше ничего.

Вася поспешил переменить разговор.

— А тебе кажется странно?..—спросил он.

Мордик подумал.

— В самом деле, кажется. А тебе?

— И мне кажется. Отчего бы это?

— Оттого, что... на дворе ветер,—сказал Мордик, прислушиваясь к шелесту листьев.

— И дождь шел большой. И теперь еще идет, но поменьше. Но это не оттого. А кажется тебе,—живо прибавил он,—что это шелестят листом бумаги... о-о-огромным?

Мордик прислушался и сказал:

— Нет, не кажется.

— А кажется тебе, что это сыплют зерно в бочку?

Мордик опять послушал.

— Вовсе не кажется, потому что это ветер.

— А мне иногда кажется. Но, все-таки, сегодня странно не от этого.

— А отчего?

— Не знаю. Знал, да забыл. Теперь не знаю.

— И я не знаю.

Оба помолчали.

В это время на другой половине дома, отделенной длинным корридором, скрипнула быстро отворенная дверь. Ей отозвалась в детской оконная рама, пламя свечи колыхнулось, и дверь опять захлопнулась.

— Слышал? — спросил Вася.

— Да, слышал... Постой-ка.

Действительно, в несколько мгновений, пока дверь открывалась и закрывалась, с другой половины донеслись каким-то комком смешанные звуки. Очевидно, там не спали, и пожалуй, не ложились всю ночь. Чей-то голос требовал воды, кто-то даже голосил и плакал, кто-то стонал... При последнем звуке у мальчиков сердца забились тревожно.

— Знаешь, что это там? живо спросил Вася.

— Знаю. У мамы скоро родится девочка.

— А может, и мальчик.

— Н-ну... может, и мальчик.

Мордик помнил два случая рождения, и оба раза это были девочки. Потому, ему и теперь казалось, что должна родиться непременно девочка. Впрочем, так как он помнил рождение девочек, а своего и Васина не помнил, то порой ему приходила в голову неосновательная идея, что рождались только девочки, потому было время, когда их вовсе не было. А они, мальчики, никогда не родились и всегда были. Он не особенно верил сам в эту теорию, но она возвышала его в собственном мнении и давала преимущество перед девочками, которые тоже хотели бы „всегда быть", но должны были смириться перед недавностью факта рождения Шуры.

— Вот отчего и кажется странно... — сказал опять Вася.

— Врешь... — протянул было Мордик, но потом согласился: — а пожалуй, твоя правда.

— Конечно, от этого. Видишь, там никто не ложился. И потом, ведь, это всегда бывает странно...

Оба задумались.

— Вдруг не было девочки, вдруг есть... — сказал Голован.

— Да, — повторил и Мордик, — вдруг не было, вдруг есть...

Странно: откуда берутся?.. Постой, я знаю—поторопился он с открытием:—подкидывают!

Об яснение было просто, но неудовлетворительно.

— Нет,—сказал Голован.

— Отчего это нет?

— Оттого, что... оттого... вот отчего нет: потому что откуда же тот человек возьмет, который подкинет?

— Он у другого.

— А другой?

— Еще у кого нибудь.

— А еще кто-нибудь где возьмет?

— Н не знаю... Няня говорит: меня под лопухом нашли. Пустяки, я думаю.

— Конечно, глупости. Кто туда положит ребенка? И насчет золотой нитки... будто на золотой нитке... спускают,— тоже глу ости.

— Уже эта старая скажет!.. Ну, а как по-твоему: откуда?

— Конечно, с того света.

Мордик задумался. Мысль показалась ему очень простой и ясной... Понятно: на этот свет попадают с того света.

— Ну, а как?

— Может быть, приносят ангелы.

— Ангелов, может, еще и нет.

— Ну, уж это ты не говори. Это грех. Уж это все знают, что есть.

— А дядя Михаил...

— Мало ли что. Когда люди видели...

— Кто видел?

— Многие видели. Я тоже видел... во сне...

— Какой он?

— Белый-белый. Летел от сада Выговских, все с дерева на дерево, а потом перелетел через огород, через площадь. А я смотрю, где он сядет. Сел на крышу на лавчонке Мошка и стал трепыхать крыльями. Потом снялся и полетел далеко-далеко.

— Хорошо летает?

— Отлично. Я потом говорю Мошку: я видел во сне, что на твоей крыше сидел ангел.

— А Мошко что?

— А Мошко говорит: ай-вай, какая важность! У меня каждый шабаш бывают в доме ангелы, а черти насядут на крышу, все равно как галки на старую топо́лю...

— Хвастает.

— Н-нет, едва-ли. У евреев многое бывает. А помнишь Юдка?

VI

Юдка был огромный жид, с громадною бородой и страшными полупомешанными глазами. Он разносил по домам лучшие сорта муки и продавал ее в розницу. Отмерив муку гарнцами, он потом прикидывал еще по щепотке—„для деток, для кухарки, для няньки, для кошки для мышки". При этом его борода тряслась, а глаза вращались в орбитах. Как только его громадная фигура с мешком на согнутой спине являлась в воротах, детьми овладевало ощущение ужаса и любопытства. Они дрожали перед Юдкой, но не могли себе отказать в удовольствии посмотреть, как Юдка будет прикидывать „на кошку, на мышку". Он ходил каждую неделю и каждый раз производил на детей чрезвычайно сильное впечатление.

Как-то однажды Юдка вдруг исчез и не являлся несколько недель. И мать, и дети сильно недоумевали и думали, что старый жид умер. Оказалось другое, а именно: в судный день Юдку схватил жидовский чорт, известный в народе под именем Хапуна. На кухне рассказывали историю со всеми подробностями. В судный день евреи собираются к вечеру в синагогу, оставляя „патынки" (туфли) у входа. Потом зажигают множество свечей, закрывают глаза и начинают жалобно кричать от страха. В это время Хапун на них налетает, как коршун, и хватает одного. Потом, когда выходят из синагоги, все разбирают свои патынки, но одна пара всегда остается. В этот раз остались громадные патынки старого Юдки, а потому все узнали, что Юдку схватил Хапун.

Потом Юдка вдруг опять появился, но он хромал и казался разбитым, а дети стали бояться еще больше. Оказалось, что Юдку спас его приятель, мельник из Кодни. Мельник этот вышел вечером на свою греблю и стоял спокойно, почесывая брюхо и слушал, как вода шумит в лотоках и бугай бухает в очеретах. А вечер был ясный. Вдруг видит: летит „какое-то" по небу. Присмотрелся, а это Хапун тащит огромного жида. Ну, думает мельник, другого такого крупного жида не найти. Не иначе только Хапун моего покупателя, старого Юдку на этот раз спапал. Конечно, если бы не то, что Юдка всегда брал у мельника муку, никогда мельник не стал бы вмешиваться в это дело. Но тут он-таки пожалел старого знакомого. Поэтому, затопав ногами, он крикнул вдруг во весь голос: „Кинь, это мое!" Хапун выпустил ношу и взвился кверху, трепыхая крыльями, как молодой шуляк, по которому выстрелили из ружья (голос у коднинского мельника-таки мое почтение!) А бедный жид со всего размаху шлепнулся на греблю и сильно расшибся.

Юдка был налицо, и все видели, что он, действительно, хромал после этого происшествия. Поэтому и Мордик не стал спорить: действительно, у евреев многое бывает. Кроме того, напоминание об Юдке и вообще рассеяло в нем зачатки скептического упрямства.

— Да, так вот тогда Мошко много мне рассказывал... и то, как родятся дети.

— Ну?

— Он говорит, у Бога есть два ангела: один вынимает из людей душу, а другой приносит новые души с того света. Вот когда надо у кого-нибудь родиться ребенку, та женщина делается больна.

— Отчего?

— Оттого, что Бог посылает обоих ангелов: марш оба на землю к таким то людям и ждите моего приказа. Если на тех людей Бог не сердится, то говорит: положите ребенка около матери и ступайте оба назад. Тогда мать опять выздоравливает. А иногда говорит: возьми ты, смерть, душу у матери.

И тогда мать умирает. А иногда говорит: возьми и мать и ребенка,—тогда оба умирают.

— А знаешь что,—добавил Голован:—может, это и правда, потому что всегда боятся, когда надо ребенку родиться и мама недавно говорила: а может, я умру.

— А тетя Катя и умерла.

— Ну, вот видишь.

— Должно быть, этот ангел страшный?

— Нет, зачем... я думаю, не очень страшный. Ведь, он не по своей воле. Думаешь, ему очень приятно, когда через него все плачут? Да что ж ему делать? Бог велит,—он должен слушаться. Он, ведь, не от себя.

— А заметил ты, после того, как Катя умерла, какие у Генриха глаза стали?

— Темные.

— Нет, не темные—большие.

— Большие и темные. И никогда он с нами так не шалит, как бывало.

— И все ссорится и спорит с Михаилом.

— Я знаю, отчего он сердится. Я слышал, как они сильно ссорились. Михаил говорил: когда человек умрет, то из него сделается порошок, и человека нет вовсе. А Генрих говорит, что человек уходит на тот свет и смотрит оттуда и жалеет...

— Так что? за что ж тут сердиться?

— Э! видишь: если из человека делается порошок, то значит, и из Кати тоже. А он этого не хочет... Он ее любит.

— Как же любит, когда ее нету?.

— Любит...

Оба помолчали. Так как ни одному из них не приходило в голову снять со свечи, то она нагорела так сильно, что фитиль стал словно гриб. Придавленное пламя тянулось кверху языками, точно ветки дерева с обстриженною верхушкой; от этого освещенное пространство стало еще ограниченнее. Не было видно ни стен, ни потолка, ни окон. Темнота шатром нависла над мальчиками, и шатер этот вздрагивал и колебался. А плеск дождевых капель и шорох деревьев теперь, казалось,

проникли в самую комнату и раздавались в ее темноте. И оба мальчика чувствовали, что такой странной ночи не было еще никогда.

Теперь оба уже уяснили себе содержание этого ощущения странности. Нездоровье матери и ее предчувствие, тревожная нежность отца, воспоминание о смерти тети Кати, потом это необычайное движение, говор и топот шагов на той половине, и чей то плач, и чьи то стоны,—все это было сведено к одному и получило форму. Несмотря на сомнительный авторитет лавочника Мошка, даже скептический Марк не находил возражений против теории, только-что развитой Голованом. Новая жизнь готовилась войти в их дом, а идущая с ней об руку смерть простерла над домом свои темные крылья; вместе с слабым стоном матери ее веяние пахнуло в детские души состраданием и ужасом.

— Слушай!—тихо сказал Марк.

— Что?—еще тише спросил Вася.

Марк наклонился к нему, как-будто боясь, чтобы звук его слов не проник туда, за темный купол над их головами.

— Слушай... ведь, если это правда, то значит, оба они...

— Да... где-нибудь тут...—Оба почувствовали внезапную дрожь.

— Разбудим девочек.

— И няньку... ступай, разбуди.

— Я... боюсь.

— И... и я тоже,—признался бесстрашный Марк.

Оба брата инстинктивно подвинулись друг к другу и свечке. Темнота, до сих пор нависавшая сверху, теперь поглотила и печку, и стену, и кровати и соседнюю комнату с девочками и нянькой, и даже самое воспоминание о них отодвинулось куда-то далеко. А шорох и шопот окончательно вошли со двора, и кто-то тихо говорил над головами двух братьев что-то непонятное, но очень важное.

Так прошло несколько минут. Может быть, прошло бы и больше, если бы Марку не пришло в голову снять нагар со свечки. Но как только он сделал это, пламя сразу выровня-

лось, купол над головами быстро раздвинулся, открывая потолок, стены, знакомую старую печку с задымленным отдушником, кровати с измятыми подушками и брошенными на пол одеялами и дверь в соседнюю спальню девочек. Вместе с тем шорох ушел из комнаты и, вместо важного голоса, слышался плеск разрозненных струек на дворе.

— Пойду, разбужу—сказал Мордик, поднимаясь и направляясь в комнату девочек.—Нянька, нянька, вставай!—тормошил он старуху.

Нянька быстро села на своей постели, с выпученными, удивленными глазами.

— А что? Разве уже?—спросила она испуганно. — Ах я, старая, проспала!

Она поправила на голове кичку, из под которой выбились седые космы, и быстро надев башмаки, накинула на плечи свитку.

— Кыш у меня!.. Сидите от-тут смирно. Я скоро приду.

И старуха торопливо вышла в коридор. Вскоре ее шаги смолкли, и Марк смотрел на брата в печальном разочаровании.

— Ушла!... Вот дура!—сказал он.

— Да, лучше было не будить. Как же теперь мы одни?

— Разбудим девочек.

Но девочки, разбуженные возней, проснулись сами.

Слышно было, как старшая помогает младшей выбраться из кроватки, и вскоре обе они появились в дверях, держась за руки.

— Здравствуйте, судари, вот и мы!—сказала Маша весело и немного жеманясь. Заметив, что няньки нет, она говорила радостно и громко

— Тише, дура! — оборвал ее Марк.—У мамы родится новая девочка, а ты тут кричишь...

— Тише, все! — сказал старший, к чему-то прислушиваясь. Девочки смирно уселись около свечи и тоже смолкли.

VII

Дождь, очевидно, совсем перестал. Прежний непрерывный шум разорвался, и из-за него яснее выступили дальние зву-

ки: колыхание древесных верхушек, лай сонной собаки и еще какой-то тихий гул, который, начавшись где-то очень далеко, на самом краю света, теперь понемногу вырастал и подкатывался все ближе.

— Кто-то едет,—сказал Мордик.

— Далеко, в городе...

Среди сна и тишины ночи, нарушаемой только плеском воды из водосточных труб да шелестом ветра, этот одинокий звук колес невольно приковывал внимание. Кто едет, куда, в эту странную ночь?.. Вася задумался. Ему представилась в отдалении катящаяся по темным и пустым улицам маленькая коляска, непременно маленькая, с маленькими кованными колесиками, потому что и этот мелодичный рокот казался маленьким и тихим, хотя долетал ясно. Маленькие лошадки быстро отбивают дробь копытами по мостовой, и маленький кучер заносит руку с кнутом. Кто же едет в поздний час по улицам спящего города?

Колеса рокотали, катились ближе, быстрее... Потом шум сразу оборвался, и послышалось только тихое тарахтение по мокрой немощеной дороге; то лязг обода о камешек, то скрип деревянного кузова прорывались время от времени и каждый раз все ближе.

— Полем едет... к нам,—сказал Мордик.

Дом стоял на краю города, рядом с широким пустырем, заросшим бурьянами и травой. Кто-же это мог ехать к ним ночью, да еще в такую ночь, когда все так странно и у них должен родиться ребеночек? И сразу этот стук под'езжавшего экипажа присоединился ко всему, что было необычно, что творилось у них только в одну эту ночь...

Затаив дыхание, дети слушали, как отворились ворота, как колеса шуршат по двору и под'езжают к крыльцу. После этого суетня усилилась, участилось хлопанье дверей и движенье на той половине.

— Это привезли ребеночка?—спросила Маня.

— Молчи!

Вася прислушался, и в его воображении рисовалась стран-

ная картина: ангелы вылезли из коляски Они бережно несут ребеночка, отдают его маме и поздравляют: все слава Богу, все слава Богу! Берите его себе, все будут живы...

Но только странно: в доме все так тихо, и никто не радуется. Суета смолкла, двери перестали хлопать. Кто то осторожно подошел в коридоре к ближайшей двери, где жила старая тетка, никогда не выходившая из своей комнаты, и Вася слышал разговор:

— „Славу Богу, приехал! Теперь все будет хорошо".

— „Ох, барыня, погодите радоваться! Сама то в обмороке... Боже мой, как трудно..."

Потом дверь скрипнула, и все стихло. Еще через минуту в детскую вбежала нянька. Космы седых волос окончательно выбились из-под головного платка, по сморщенному лицу текли слезы. Не обращая внимания на детей, она пошарила в сундуке, потом забралась к себе на постель, и когда она опять выбежала, дети увидели в спальной красноватый отблеск. Перед иконой тихо разгоралась „страшная свеча", „громница"...

Девочки ничего не понимали и только смотрели перед собой широко открытыми глазами. Братья смотрели друг на друга и ждали: кто из них заплачет первый. Тогда детская сразу переполнилась бы неудержимым ревом... Но было слишком страшно... На дворе кто-то гудел протяжно и сердито, и дети уже не узнавали в этом гудении голос ветра, пролетавшего над садом.

Но вдруг дальняя дверь опять отворилась, и чей-то странно-спокойный, уверенный голос сказал громко:

— Отлично, отлично! Поздравляю!— и долгий, облегченный вздох, какого никогда в жизни не приводилось слышать детям, тихо пронесся по всему дому и угас...

Васе вдруг стало как-то радостно, хотя в голове путалось еще больше... Он не знал, что значит этот странный голос, и ему казалось, что он засыпает. Напряжение этой ночи брало свое, Шура дремала сидя, и дети не замечали, как идет время...

— А я знаю, кто приехал,—сказал вдруг Марк, не поддавшийся дремоте, но слова замерли у него на устах. Дверь

опять отворилась, но теперь никаких звуков не было слышно, кроме детского плача. Плакал маленький ребеночек каким-то особенным, тонким, захлебывающимся голосом, но упрямо и громко...

Это было так неожиданно, и плач слышался так ясно, что даже маленькая Шура очнулась, подняла голову и сказала:

— Детинька... пацит.

Впрочем, ее это, повидимому, нисколько не удивило.

За то все остальные повскакали с мест. Маша захлопала в ладоши, а Марк кинулся к дверям.

— Пойдем туда!

Вася пошел за ним, но у порога остановился.

— А заругают?

— Ну, один раз ничего...—успокоил Марк. Он хотел сказать, что именно этот раз, в эту ночь, все позволительно.—А вы, девочки, оставайтесь...

Но Маша думала иначе:

— Вот какой умный! Оставайся сам, если хочешь... Пойдем, Шурочка, пойдем, милая!—и она торопливо подняла Шуру.

Пускай идут, — поддерживал Вася, понимавший хорошо, что он сам ни за что бы не остался.

Когда они открыли дверь в коридор, на них пахнуло теплым и влажным ветром. Сверх ожидания, коридор оказался освещенным; в самом конце у входной двери кто-то забыл сальную свечу в подсвечнике. Она вся оплыла, ветер колыхал ее пламя, летучие тени бегали по всему коридору, то мелькая по стенам, то скрываясь в углах, а черное отверстие печки, находившееся посредине, тоже как будто шевелилось, перебегая с места на место. Вообще и коридор в эту ночь стал совсем иной, необычный. В полуоткрытую дверь виднелась часть синего ночного неба, и черные верхушки сада качались и шумели. Когда дети подошли к концу коридора, ветер обвеял их голые ноги.

Дверь „на ту половину“ была недалеко от входа, направо. Марк шел впереди и первый, поднявшись на цыпочки, тихо открыл эту дверь. Дети гуськом шмыгнули в первую комнату.

Знакомые прежде комнаты имели теперь совсем другой вид.

Прежде всего дети обратили внимание на дверь маминой спальни. Там было тихо, слабый свет чуть-чуть брезжил и позволял видеть фигуру отца, нежно склонившегося к изголовью кровати... Темная фигура незнакомой женщины порой проходила неясною тенью по спальне.

Марк дернул Васю за рукав.

— Видишь теперь, кто это приехал?

— Кто?

— Смотри: дядя Генрих и... Михаил.

Вася отвел глаза от дальней двери и взглянул в среднюю комнату, отделявшую переднюю от спальной. Это была прежде гостиная, но теперь в ней все было переставлено по-иному. Дядя Генрих сидел задумчиво на стуле, под висячей лампой, и на его бледном лице выделялись одни глаза, которые, казалось детям, стали еще больше. Михаил без сюртука, с засученными рукавами, вытирал полотенцем руки.

— Что теперь делать?—спросил растерянно Вася. Во всех практических начинаниях он предоставлял первенство Марку.

— Не знаю,—ответил тот, отодвигаясь в тень. Дети последовали за ним. Присутствие Генриха и Михаила их озадачило. Генрих прежде был весельчак, играл с детьми, щекотал их и вертел в воздухе. Около двух лет назад у него родилась Шура, а жена умерла. С тех пор он уехал в другой город и редко навещал их, а когда приезжал, то дети замечали, что он сильно переменился. Он был с ними попрежнему ласков, но они чувствовали себя с ним не попрежнему: что-то смущало их, и им не было с ним весело. Теперь он глубоко задумался, и в глазах его было особенно много печали.

Михаил был гораздо моложе брата. У него были голубые глаза, белокурые волосы в мелких кудрях и очень белое, правильное, веселое лицо. Вася знал его еще гимназистом с красным воротником и медными пуговицами, но это, все-таки, было давно. Потом он появлялся из Киева в синем студенческом мундире и при шпаге. Старшие говорили тогда между собой, что он становится совсем взрослый, влюбился в барышню, сделал раз „операцию“ и уже не верит в Бога. Все

студенты перестают верить в Бога, потому что режут трупы и ничего уже не боятся. Но когда приходит старость, то опять верят и просят у Бога прощения. А иногда и не просят прощения, но тогда и бывает им плохо, как доктору Войцеховскому... Такие всегда умирают скоропостижно, и у них лопается живот, как у Войцеховского...

Михаил никогда не обращал на детей внимания, и детям всегда казалось, что он презирает их по двум причинам: во-первых, за то, что они еще не выросли, а во-вторых—за то, что сам он вырос еще недавно и что у него еще почти не было усов. Впрочем, когда теперь он подошел к лампе и надел совсем новый мундир, дети удивились, как он переменился: у него были порядочные усики и даже бородка, и он стал на самом деле взрослый. Лицо у него было довольное и даже гордое. Глаза блестели, а губы улыбались, хотя он старался сохранить важный вид... Надев мундир, он таки не вытерпел и, крутя папиросу, сказал Генриху:

— Ну, что скажешь, Геня, каково я справился?.. А случай трудный, и этот старый осел, Рудницкий, наверное отправил бы на тот свет или мать, или ребенка, а может быть и обоих вместе...

— Молодец, Миша!.. Да, мы приехали с тобой во-время. Может быть, если бы два года назад... у моей Кати...

Но тут голос его стал глуше... Он отвернулся.

— А все-таки, — сказал он, — рождение и смерть... так близко... рядом... Да, это великая тайна!..

Михаил пожал плечами.

— Эту тайну мы, брат, проследили чуть не до первичной клеточки...

Дети недоумевали и не знали, на что решиться. Во-первых, все оказалось слишком будничным, во-вторых, они поняли, что и в эту ночь им может достаться за смелый набег, как и всегда; а даже выговор в присутствии Михаила был бы им в высшей степени неприятен. Неизвестно, как разрешилось бы их двусмысленное положение, если бы не вмешался неожиданный случай.

Входная дверь скрипнула, приотворилась, и кто-то заглянул в щелку. Дети подумали, что это няня, наконец, хватилась их и пришла искать. Но щель раздвинулась шире, и в ней показалась незнакомая голова с мокрыми волосами и бородой. Голова робко оглянулась и затем какой-то чужой мужик тихонько вошел в переднюю. Он был одет в белой свитке, за поясом торчал кнут, а на ногах были громадные сапожищи. Дети прижались к стене у сундука.

Мужик потоптался на месте и слегка кашлянул, но будто нарочно так тихо, что его никто не услыхал в спальной. Все его движения обличали крайнюю робость, и дверь он оставил полуоткрытой, как-будто обезпечивая себе отступление. Кашлянув еще раз и еще тише, он стал почесывать затылок. Глаза у него были голубые, борода русая, а выражение чрезвычайной робости и почти отчаяния внушало детям невольную симпатию к пришельцу.

Отчасти тревожный шопот детей, отчасти привычка к полутьме передней указали незнакомому пришельцу его соседей. Он, видимо, не удивился, и в его лице появилось выражение доверчивой радости. Тихонько, на цыпочках, хотя очень неуклюже, он подошел к сундуку.

— А что мне... коней распрягать прикажут?—спросил он с видом такого почти детского довѣрия к их „приказу“, что дети окончательно ободрились.

— А это вы привезли маленького ребеночка?—спросила Маша.

— Э! какого ребеночка? Я привез пана с паничом... А что мне, не знаете-ли, коней распрягать или как?

— Не знаем мы,—сказал Мордик.

— А ты вот что: ты, паничку, поди в ту комнату, да и спытай у панича, у Михаила, что он скажет тебе?

— Сходи сам.

— Да я, видите-ли, боюсь... Мне того, мне не того... А вы бы сходили таки, вам-таки лучше сходить. Не Бог знает, что с вами сделают.

— А с тобой?

— Э, какой-же ты, хлопчику, бесстонятный. Иди-бо, иди...

Он выдвинул Марка из угла и двинул к дверям. Марк предпочел бы лучше провалиться сквозь землю, чем предстать теперь перед всеми — и в особенности перед Михаилом—в одной рубашке и так неожиданно. Но рука незнакомца твердо направляла его вперед.

— Что это, откуда-то дует... — послышался тихий голос матери. Тогда Михаил повернулся на стуле и Марк понял, что участь его решена. Поэтому он со злобой отмахнул руку незнакомца и храбро выступил перед удивленными зрителями.

— Он говорит, вот этот...—заговорил Марк громко и с очевидным желанием свалить на мужика целиком вину своего неожиданного появления,—узнай, говорит, что, мне лошадей распрягать, или не надо?

— Кто? где?—спрашивал отец, повернувшийся на говор.

— Там вот, мужик.

Но мужик в это время предательски отодвинулся к выходной двери и, наполовину скрывшись за ней, политично ожидал конца сцены. Маша, увидев этот маневр, пришла в негодование.

— А ты зачем прячешься? Вот видишь какой: выталкнул Маркушу, а сам спрятался!..

Это вмешательство выдало всех. Михаил взял с комода свечку, поднял ее над головой и осветил детей.

— Эге,—сказал он,—тут их целый выводок. И дурень Хведько с ними. Хведько, это ты там, что ли?

— А никто, только я. Я-бо спрашиваю, чи распрягать мне коней?

— Дурень, запирай двери!—крикнул Михаил.—Да не уходи пока! Погоди там в передней.

Мужик с большою неохотой повиновался.

— Ну, теперь расправа: как вы сюда попали, пострелята? Ты зачем их привел, Хведько?

— А какой их бес приводил... Я вошел спытать, чи распрягать мне коней. Гляжу, а их там напыхано целый угол. Вот что! А мне что? Вот и маленькая панночка говорит: „Ты ребеночка привез“... Какого ребенка, чудное дело...

Все засмеялись.

— Ну, теперь вы говорите: как сюда попали?

Оба мальчика угрюмо потупились... Они ждали чего-то необычайного, а вместо того попали на допрос, да еще к Михаилу.

— Мы услышали, что ребеночек плачет,—ответила одна Маша.

— Ну, так что?

— Нам любопытно,—угрюмо ответил Марк,—откуда такое?

— Ого, ого!—сказал на это Генрих, который, между тем взял на руки свою Шуру.—Вот что называется вопрос! Спросите у него,—кивнул он на Михаила,—он все знает.

Михаил поправил свои очки с видом пренебрежения.

— Под лопухом нашли,—сказал он, отряхивая свои кудри.

Пренебрежение Михаила задело Марка за живое.

— Глупости,—сказал он с раздражением.—Мы знаем, что это не может быть. На дворе дождик, она бы простудилась.

— Ну, вот, одна гипотеза отвергнута, — засмеялся Генрих,—подавай, Миша, другую.

— Спустили прямо с неба на ниточке.

— Рассказывайте...—возразил Марк, входя все в больший азарт.—Видно, сами не знаете. А мы вот знаем!

— Любопытно. Верно, от старой дуры, няньки?

— Нет, не от няньки.

— А от кого?

— От... от жида Мошка.

— Еще лучше! А что вам сказал мудрец Мошка?

— Расскажи, Вася,—обратился Марк к Головану.

— Нет, рассказывай сам.—Вася был очень сконфужен и чувствовал себя совершенно уничтоженным насмешливым тоном Михайловых вопросов. Марк же не легко подчинился чужому настроению.

— И расскажу, что-ж такое?—задорно сказал он, выступая вперед.—У Бога два ангела...

И он бойко изложил теорию Мошка, изукрашенную Васиной фантазией. По мере того, как он рассказывал, его бодрость все возрастала, потому что он заметил, как возрастало все-

общее внимание. Даже мать позвала отца и попросила сказать, чтобы Марк говорил громче. Генрих перестал ласкать Шуру и уставился на Марка своими большими глазами; отец усмехнулся и ласково кивал головой. Даже Михаил, хотя и покачивал правою ногой, заложенной за левую, с видом пренебрежения, но сам, видимо, был заинтересован.

— Что же, это все .. правда?—спросил Марк, кончив рассказ.

— Все правда, мальчик, все это правда!—сказал серьезно Генрих.

Тогда Михаил, еще за минуту перед тем утверждавший, что ребят находят под лопухом, нетерпеливо повернулся на стуле.

— Не верь, Марк! Все это глупости, глупые Мошкины сказки... Охота—повернулся он к Генриху,—забивать детскую голову пустяками!

— А ты сейчас не забивал ее лопухом!

— Это не так вредно: это—очевидный абсурд, от которого им отделаться легче.

— Ну, расскажи им ты, если можешь...

— Ты знаешь, что я мог бы рассказать...

— Что?

Михаил звонко засмеялся.

— Физиологию... разумеется, в популярном изложении... Надеюсь, это было бы правда.

— Напрасно надеешься...

— То-есть?

— Ты знаешь немногое, а думаешь, что знаешь все... А они чувствуют тайну и стараются облечь ее в образы... По-моему, они ближе к истине.

Михаил нетерпеливо вскочил со стула.

— А! Я сказал бы тебе, Геня!.. Ну, да теперь не время. А только вот тебе лучшая мерка: попробуйте вы все, с вашею... или, вернее, с Мошкиной теорией сделать то, что, как ты сейчас видел, мы делаем с физиологией... Вы будете умиляться, молиться и ждать ангелов, а больная умрет...

— Ну, умирают и с физиологией, я знаю это по близкому опыту...—сказал Генрих глухо.

— Частный факт, и физиология плохая...

— Этот частный факт для меня,—пойми ты.—общее всех твоих обобщений. Погоди, ты поймешь когда-нибудь, что значит смерть любимого человека, и частный-ли это факт.

— Истина выше личного чувства!—сказал Михаил и смолк. Он понял, что с Генрихом нельзя теперь продолжать этот разговор.

VIII

В комнате стало тихо. Дети недоумевали. Они не поняли ни слова из того, что говорилось, но ощутили одно, это спорность их теории. Они были смущены и нерадостны.

В это время Хведько, о котором все забыли, высунул опять голову из за косяка двери.—

— А что, мне распрягать коней, чи нет?—произнес он с глубокою тоской в голосе.

Это вмешательство показалось всем очень кстати.

Михаил весело засмеялся.

— Ага!—сказал он,—вот еще один мудрец. Попробуем сейчас маленькую индукцию. Как ты думаешь, Хведор, куда мы с тобой ехали?

— Да я-ж думаю, никуда, только сюда.

Он внимательно, не отрывая выпученных глаз смотрел на Михаила, как будто боялся его шутливых расспросов.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, приехали мы сюда или нет?

— Э, вы-бо все смеетесь. Чего бы я спрашивал, когда оно само видно?

— Так зачем же лошадям стоять на дожде, дурню?

— От и я так думал,—обрадовался Хведько.—Оно хоть дожля уже нет, а таки лошадям стоять не для чего. Пойду распрягать. Так и говорили бы сразу...

И он поторопился уйти с видимым облегчением.

— Ну, и вы тоже... марш обратно!—сказал отец.

— А... а деточку?—сказала Маша печально.

Виновница всей кутерьмы находилась в спальне. Мать тихо сказала что то, и вскоре бабка вынесла ее на руках в хорошеньком белом свивальнике.

Среди кучи белья виднелась маленькая головка. Глаза смотрели прямо, на лице было то странно-сознательное выражение, которое порой делает лица детей почти старческими. Девочка зевала и потягивалась.

— Горлячка какая'—неизвестно почему решила про нее Маша, поднимаясь на цыпочки.

Если бы мама была здорова, она, наверное, вспомнила бы, что детям нужно принести платье. Но теперь никто не обратил внимания на то, что они вышли, как и вошли, в одних рубашонках. Шура осталась на руках отца.

Выйдя в коридор, Маша тотчас же побежала в детскую, но мальчики замешкались. Марк увидел в наружную дверь, что около конюшни стоит бричка, а Хведько распрег уже лошадей и ведет их под навес. Это его заинтересовало, и он юркнул на крыльцо; Вася пошел за ним.

Хведько привязал лошадей, потом его белая свитка замелькала около брички, и он вынес оттуда громадный чемодан. Втащив его на крыльцо и поставив на верхней ступеньке, он, по-своему, с наивною фамильярностью обратился к Марку:

— А то, видно, у вас родилось тут что то?

— Не что то, а девочка!

— Вот и я говорю. А о чем это паничи спорились?

— А это, видишь ты... Мы говорим: у Бога два ангела...

— Ну-ну, не два,—много... Мало-ли их у Бога... богато...

— Правда? А Михаил говорил: глупости!

— Но!.. Молодой панич иной раз скажет, так будет над чем посмеяться!—И он сам засмеялся.

Дети почувствовали к нему полное доверие.

— А правда что детей приносят ангелы?

— Оно... того .. так надо сказать, что детей приносят бабы... таки не кто другой... А душу ангелы приносят. Вот уж это так ваша правда. Вот что, хлопчики: душу... Ну, а

мне, хлопчики мои, надо сундук нести, вот что. А то я бы тут вам все это отлично рассказал...

И Хведько взвалил себе на плечи тяжелый чемодан.

Мальчики очень жалели об этой необходимости. Там в кабинете, их теория, успешно выдержавшая в детской их собственную критику, как-то помутились. Они чувствовали недоумение и растерянность. Здесь же короткая беседа с Хведьком опять восстановила ее в прежнем порядке и стройности.

И оба они посмотрели на небо в одно время.

Только теперь они обратили внимание, что и на дворе тоже все странно. Первая странность состояла, конечно, в том, что они стоят на крыльце, босые и не одетые, в такую пору, и что их обдувает прохладный и сырой ветер. Кроме того, на дворе, там и сям, странно светились лужи, каким-то особенным, загадочным отблеском ночного неба, а сад все колыхался, точно он еще не мог окончательно успокоиться после волнений ночи. Небо светлело, но тем резче выделялись на нем крупные, тяжелые и будто взъерошенные облака. Точно кто-то пролетел по небу, все раскидал, все перерыл, и теперь так трудно привести все в порядок до наступления утра. А между тем всюду заметна была торопливость. Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба громадным столбом, быстро наклонялось, столб ломался и закрывал одни звезды, между тем как из-за него бойко выглядывали другие. Какие-то раскиданные по небу лохмотья стягивались к одному месту, в сплошную тучу, которая все оседала книзу; и по мере того, как туча спадала, становилось светлее, и можно было разглядеть, как осина в саду то и дело меняется от ветра, взмахивая своими, белыми снизу, листьями.

И детям чудился в светлеющем небе неуловимый полет светлого ангела, между тем как другой распростер темные крылья там далеко, под низкими тучами. Обоим мальчикам хотелось встретить тут восход солнца,—это так любопытно,— и они постояли бы еще долго, если бы нянька, наконец, не спохватилась. Ворча, в каком-то исступлении, она неслась по коридору с совершено несвойственною старым ногам быстро-

той. Однако, она не добежала до крыльца, а остановилась в трех шагах от дверей, отстранившись к стенке, так что осталось узкое место для прохода детей.

— А кыш, а кыш!—кричала она.—Ах, проклятые гультяи, куда забрались, нет на вас холеры великой!.. А кыш!..

Мальчики охотно не пошли бы опасным проходом, но они понимали, что их поступок выходил совершенно из рамок всякого компромисса и что нянька имеет право на возмездие. Оставалось только надеяться на свою ловкость.

Голован был любимец няньки и, хотя бежал первым, но получил удар снисходительный. За то шлепок, отпущенный Марку, отдался по всему коридору. Тем не менее, отбежав на середину коридора, он остановился и сказал довольно равнодушно:

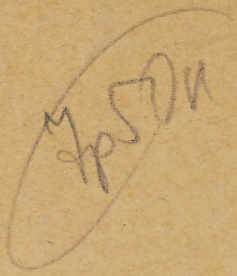
— Думаешь, очень больно? Ничего не больно-только громко.

Через полчаса все в доме успокоилось, хотя спали далеко не все.

Отец думал о том, что прибавились еще расходы, а жалованья и так не хватает. Мать думала о том же, Она велела поднести к себе девочку, смотрела на нее и плакала, потому что она не знала, можно ли ей радоваться новой жизни при таких маленьких средствах. Михаил начал дремать и в дремоте думал о жизни, что она хороша. А Генрих не спал, смотрел в темноту и думал о смерти: что же она такое?

Только дети спали безмятежно и крепко.

1882 г.



Издание зарегистрировано, и цена утверждена Отделомъ Печати М. С. Р. и К. Д.

Цена 5 р. 50 к.